

355701

В. ВЛАДКО

В5774



# ЦЕНА ЖИЗНИ

РАССКАЗЫ

(Перевод с украинского)

ОГИЗ 1942  
САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

## ЦЕНА ЖИЗНИ

Он быстро взбежал вверх по узкой каменной лестнице, не касаясь железных перил. Время теперь у него было, время, измерявшееся минутами: ему удалось внизу накинуть на дверь большой железный крюк. Они еще повозятся там, немцы, пока сломают крюк или выбьют дверь.

Четвертый этаж, пятый... Вот сейчас должна быть маленькая боковая дверь. Проскользнуть через нее в лифтовую клетку... там есть дверцы балансового туннеля, можно спуститься вниз по тросу, скрыться... Он хорошо знал этот большой дом, еще в прошлом году он ремонтировал тут лифт.

Все еще не пряча в карман пистолета, он взбежал на площадку шестого этажа. И остановился, как вкопанный. Боковая дверь в лифтовую клетку была заперта на замок. Снизу доносился грохот: должно быть, немцы били прикладами в дверь, стараясь выломать ее.

Остаться тут? Да, у него есть пистолет и две обоймы. В карманах есть еще три гранаты. Можно защищаться, но...

Нет, нет, спокойно! Не волноваться, не спешить! Не удастся ли ему спрятаться на чердаке? А потом, дождавшись вечера, спуститься по внешней железной лестнице?

Но перед дверью чердака он снова остановился, сдерживая себя. Нет ли там кого-либо из врагов? Дом высок, немцы устраивают на всех таких домах зенитные установки, это он знал. Грохот, доносившийся снизу, будто подтолкнул его.

На чердаке была полутьма. Особенный запах пыльного морозного воздуха, свойственный чердаку городского дома. Толстый слой сухого песка на полу заглушал шаги (песок насыпан тут еще до прихода немцев, чтобы в нем тухли зажигательные бомбы). Тишина.

Быстрыми шагами, осматриваясь по сторонам, он шел туда, где светилось слуховое окно. Выйти на крышу, может быть, перебраться на крышу соседнего здания... на чердаке оставаться все равно негде, все, как на ладони... Стоп!

Настороженное ухо услышало новые звуки, новый шум. Словно стукнула где-то вблизи тяжелая дверь. Потом донесся голос—разговор по-немецки. Потом послышались шаги, они приближались сюда, как будто от того слухового окна.

Одним прыжком он оказался за брандмауером, притаился там, осторожно выглядывая, незаметный в полутьме чердака, в его неясных тенях.

Шаги приближались. Вот вырисовался силуэт человека в немецкой шинели. Фашистский солдат шел по чердаку, засунув руки в карманы шинели, согнувшись, съжившись, будто замерзший.

Немецкий солдат... немецкая одежда, в ней он легко мог бы ускользнуть, спастись, пройти по крыше, не вызывая подозрения часовых... действовать, действовать!

Солдат проходил мимо брандмауэра, что-то бормоча себе под нос. Сдвинутая на лоб пилотка обнажала затылок. Еще мгновение, так будет вернее...

— А-ах!

Короткий оборванный крик слился со звуком удара, треском пробитой черепной кости. Немец странно, неуклюже взмахнул руками и свалился на толстый слой песка лицом вниз. Пилотка упала рядом. И вновь тишина.

Оглянуться, проверить, нет ли новой опасности? Прислушаться, не приблизилась ли погоня? Немец лежал неподвижно, раскинув руки. Мертв или потерял сознание? А, все равно!

Он перекинул безжизненное тело немца на спину, расстегнул пуговицы шинели, стянул ее, накинуд на себя. Застегнулся. Теперь еще пилотку. Готово. Вперед!

Где-то позади, далеко еще, слышен топот. Немцы бегут сюда, следом за ним. Вперед!

Вот и слуховое окно. Крыша плоская, оледеневшая. Спасаться некуда. Так... его пальцы сжали рукоятку пистолета в кармане. А это что?

Квадратная бетонная башня посреди крыши. Башня с железными перилами, с флагштоком. Дверь. Ага, отсюда и вышел тот немец? Ладно. Другого выхода нет.

Уверенно, с беспечным видом, он приблизился к двери башни, приоткрыл ее. Крутая лестница вверх. Над ней железный люк. Вперед!

Будто в ответ на стук его сапог по лестнице, сверху доносился чей-то голос. Он что-то спрашивал по-немецки. Прекрасно, его принимают за немца.

Он громко ответил несколькими неразборчивыми словами, подделываясь под немецкий язык. Что-то вроде «хайль аншлюсцейтунг».

Железный люк над его головой открылся. Оттуда выглянула голова немецкого солдата. И почти одновременно прозвучал короткий сухой выстрел из пистолета. О, не даром он славился как стрелок!

Цепляясь омертвевшими руками за ступени, немецкий солдат падал вниз. Еще несколько секунд—и его тело покатилося к внешней двери башни. Внимание, спокойно! Нет ли там, наверху, еще кого-нибудь?

Нет. В тревожной тишине были слышны только какие-то неясные звуки, доносившиеся снизу, со стороны чердака. Чье-то удивленное восклицание. Должно быть, немцы обнаружили труп первого солдата. Ну, ладно.

Он поспешно сбежал вниз, поднял тяжелое тело немца и вытолкнул его на крышу. Затем закрыл дверь, запер ее тяжелым засовом. Так будет спокойнее.

Потом снова поднялся по лестнице наверх и через люк вышел на крышу башни, сдерживая дыхание, ощущая, как бешено стучит сердце.

Никого. Значит, их было двое. Один вышел раньше, второго он застрелил здесь. Спаренный пулемет на станке смотрел дулами вверх. Из его замка свисали ленты с патронами. Ящики с запасными лентами стояли тут же, около пулемета. Зенитное пулеметное гнездо. Очень хорошо, теперь он вооружен значительно лучше... Снизу донеслись голоса немцев. Они бежали сюда, к железобетонной башне. Ладно, теперь не они, а он хозяин положения.

Он захлопнул тяжелый железный люк. В этом люке были два отверстия—небольшие, но удобные для наблюдения узкие щели. Прекрасно, можете идти, господа фашисты, мы еще поборемся!

Опять донеслись удивленные, яростные восклицания. Немцы заметили перед башней тело второго убитого солдата. Они что-то кричали, они пробовали открыть дверь.

Осторожно он выглянул вниз, держась руками за стояки перил, лежа на полу башни. Так, отсюда хорошо видно всю крышу. Вон внизу немцы. Их немало—человек двадцать. Ого, сколько их гонится за ним одним!

Раздался выстрел. Пуля звонко ударилась о перила около его головы. Заметили! Впрочем, это не важно, так или иначе—они знают, что он здесь.

Он отполз от края башни и сел около пулемета. Надо было обдумать положение. Еще выстрелы. Пули провизжали в воздухе над ним. Он усмехнулся: игрушки!

В утренней дымке перед ним и вокруг него раскинулся большой город. Знакомые очертания, знакомый вид...

Вот там, направо, гигантские корпуса завода, которым гордился город. Теперь—это черные развалины.

Он медленно поворачивал голову, вглядываясь в даль. Его город... когда-то шумный, веселый, полный кипучей жизни, теперь он превратился в мертвое, безлюдное, хмурое

кладбище. Немцы ходили по городу, немцы хозяйничали тут, немцы командовали в городе...

Нет, не очень командовали. И то, что он сидит здесь на крыше,—доказательство этого. Его отряд... нет, лучше сказать, его подпольная группа —делала свое дело. Невольно он стал смотреть налево, разыскивая то здание. Вот оно... нет, не оно, понятно, а остатки его, над которыми еще клубился дым. Там расположился немецкий штаб. И сегодня ночью он взлетел в воздух. Товарищам удалось скрыться, а он... он должен был отвлечь внимание от подрывников. И отвлек. Жаль только, что не удалось до конца провести немцев.

Так вот, нужно обдумать положение. Спастиcь отсюда он уже не сможет. Это ясно. Он окружен. Но и его взять легко они тоже не смогут. Это также ясно. Значит, возникает новое боевое задание: продать свою жизнь дорогой ценой, уничтожить как можно больше врагов.

Что ж, ему посчастливилось. Он получил дополнительное оружие—вот этот спаренный пулемет. Ладно.

Он хрипло, нервно рассмеялся. Немецким оружием уничтожать самих же немцев. Чудесно! Жаль, товарищи не знают, не видят всего этого. Сюда, на башню, не заглянешь, разве что с самолета. Она высится над остальными зданиями. И флагшток, устремленный в небо,—пустой, голый флагшток.

Снизу донесся грохот. Немцы выламывали дверь в башню. Пусть возьмется. Тем временем он успеет осмотреть все, что есть здесь, на башне.

Около пулемета он нашел брезентовую сумку. Сухари... бутылка с водой... э, вот это хорошо! Сигареты. И спички. Он закурил сигарету—невкусную, пресную немецкую сигарету, как будто сделанную из соломы. Но это лучше, чем ничего. Он долго уже не курил. Патроны... и это все.

Нет, вот еще небольшая выемка в бетоне. Что тут? Смятые газеты... какой-то мусор... и сверток. Что в нем? Тонкая красная ткань, на ней золотая краска... Но ведь это—флаг! Советский флаг с золотым серпом и молотом, который, вероятно, в свое время поднимали по праздникам на этой башне. Немцы не заметили его. Прекрасно!

Он снова засмеялся и поднял голову. Бледное зимнее голубое небо широкой чашей раскинулось над ним. Флагшток с тонкими веревками, раскачивавшимися под порывами легкого ветра, уходил в это голубое небо. Высокий флагшток на высокой башне большого дома.

Грохот внизу оборвался тяжелым ударом. Немцам удалось выломать внешнюю дверь. Он прислушался. Немцы поднимаются сюда по лестнице. Хорошо.

В одно мгновение он был около люка. Сквозь узкое от-

верстие он превосходно видел темные 'фигуры фашистов, осторожно поднимавшихся вверх. Он вставил дуло пистолета в одно из отверстий, и, не отрывая взгляда от второго, прицелился.

Один за другим прозвучали три выстрела. Им ответили крики, тяжелые звуки падения человеческих тел. И топот немцев, убегавших вниз, назад. Частой, беспорядочной дробью снизу застучали выстрелы. Немцы били вверх вслепую. Пули со скрежетом ударялись о железный люк. Он усмехнулся: пусть забавляются! Что касается его, то он будет расходовать патроны только наверняка. Кроме того, немцы теперь некоторое время будут обдумывать, что им предпринять.

Откуда возникло то волнение, от которого у него дрожали пальцы, когда он привязывал красный флаг к веревкам на флагштоке? Почему сердце так неудержимо билось, когда он осторожно натягивал веревку и флаг медленно поднимался вверх, плыл вдоль флагштока в небо—выше, выше, выше...

И вот флаг остановился, взлетев до верхнего конца флагштока. Он остановился на мгновение—и тотчас же его подхватил свежий порыв ветра. Красное, яркое полотнище развернулось. Блеснула гордая золотая эмблема страны Советов—трудовые серп и молот. Флаг развевался в небе. Красный флаг реял в голубом небе, над хмурым, захваченным фашистами большим городом.

Его было видно отовсюду—с улиц, площадей, из окон зданий. Гордый красный флаг, он вольно плескался в небе, недоступный для немцев, прекрасный, как вечный символ борьбы и победы.

Выстрелы снизу прекратились. Очевидно, немцы поняли, что это бесполезно. Что они изобретут теперь?

Оглушительный взрыв где-то около перил башни заставил бетон вздрогнуть. Еще один... еще... Ага, немцы решили забросать его гранатами. Что ж, это может дать им преимущество, если...

Но башня была слишком высока. Гранаты не попадали на нее и взрывались, ударяясь о бетонные стены. Ему это не повредит, а самих немцев внизу может ранить осколками. Хорошо.

Тем временем надо подготовить пулемет. Это надежная поддержка в его положении. Она поможет ему выполнить боевое задание и уничтожить как можно больше врагов, продать свою жизнь дорогой ценой.

К счастью, станок пулемета не был прикреплен к полу. Это давало возможность подтянуть пулемет ближе к краю башни и наклонить стволы.

Ползком он еще раз приблизился к краю, к перилам. Нуж-

но было проверить, не держат ли немцы под обстрелом верх башни. Надев пилотку на палку, лежавшую около перил, он медленно поднял ее вверх. И сразу затрещали выстрелы. Пули засвистели над ним, хоть ни одна и не попала в пилотку.

— Плохие стрелки,—прошептал он удовлетворенно.—Ну, я буду стрелять не так, можете быть уверены!

Выход на крышу дома был только из того слухового окна, откуда выходил он сам. Это он помнил.

Рассчитывая каждое движение, он подтянул пулемет к тому краю, который выходил к слуховому окну. Небольшой стальной щит пулемета позволял ему спрятать голову и смотреть сквозь щель. Опять раздались выстрелы. Пули звякнули о щит.

Ладно!

Внимательным взглядом он различил сквозь щель кучку немцев, засевавшую около слухового окна. С чердака выбегали еще солдаты: это было подкрепление. Прекрасно!

Он прицелился и нажал гашетку. Рукоятки пулемета затанцевали в его руках. Пули прошли воздух и двумя свинцовыми потоками полили железо крыши, разбрасывая осколки льда. Немцы бросились врассыпную, оставляя убитых и раненых.

Он удовлетворенно подсчитал:

— Четыре... шесть... восемь... да два раньше... да еще три на лестнице... всего тринадцать. Уже хорошо. И еще не конец. А, чорт!

Его словно горячей палкой ударило по плечу. И сразу вслед за этим еще несколько пуль брякнуло о стальной щит.

Где-то под укрытием прятался фашистский снайпер. Ему удалось выбрать подходящий момент, когда человек на башне, увлеченный успехом, высунулся из-за щита.

— Нет, эта рана не страшна. Плечо-то ведь левое...

Да, рана была не тяжелой, хотя плечо и горело, будто к нему приложили раскаленный уголь. Где этот снайпер?

Он высунул за щит пилотку на палке. Сразу протрещали два выстрела. Две пули одна за другой пробили пилотку—и желтые вспышки из-за кирпичной трубы указали место, где прятался фашист.

Теперь дело было в том, кто кого перехитрит.

Он замер, медленно поворачивая стволы пулемета по направлению к трубе. Не стрелять, нет, пока не будет уверенности! Не всполошить фашиста, тогда дела уже не поправишь!

Еще несколько пуль ударились о щит. И вдруг он почувствовал, как что-то горячее полилось по его рукам, по левому боку. Пули ударялись о щит—и словно вновь отдавались выстрелами, но уже более близкими. Разрывные пули! Фашист стрелял разрывными пулями! И их осколки ранили его...

Неудержимая ярость охватила его. Этот проклятый фашист может не дать ему выполнить задание! Нет, цена его жизни должна, должна быть большею, более дорогой!

Не отрывая глаз от щели в щите, он заметил, как из-за трубы высунулся ствол винтовки. Над ним зеленовато и тускло обозначился шлем фашиста. Ага, сюда, под шлем, над самой винтовкой!

Короткая очередь из обоих стволов пулемета сразу, будто крупным горохом, ударила по кирпичной трубе. И тотчас же на покрытую льдом крышу упала винтовка, из-за трубы свалилось тело человека в шлеме и немецкой шинели. Готов! Четырнадцать!

Горячая кровь стекала у него по боку. Она склеивала одежду, мешала движениям. Перевязать? Чем?..

И вновь, как пригоршни сухих камней, по железным перилам, по щиту пулемета застучали пули. И не было слышно трескотни выстрелов. Потерял он слух, что ли?

Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Его обстреливали из окон соседнего здания. А, так?

Быстрым движением он перевел стволы пулемета налево, туда, где вспыхивали огоньки выстрелов. Длинной очередью прошелся по окнам верхнего этажа. С удовлетворением увидел, как из этих окон высунулись, падая на подоконники, роняя винтовки, немцы. Они не ожидали мгновенного ответа.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать.. Ах!

Он упал. Пуля пронизала ногу. Должно быть, она пробила кость: снова подняться он уже не мог. Плохо...

Пулемет стоял около него, заряженный. Но даже если бы ему удалось сесть, он не дотянулся бы теперь до его рукоятки.

— Проклятые! Но я еще жив!

Он проверил гранаты и пистолет, заменил обойму, с трудом помогая себе раненой левой рукой. Он мог двигаться теперь только ползком, раненая нога тянулась за ним, как колода.

Немного отдохнуть, собраться с силами... Он поднял голову. Над ним развевался красный флаг, он, казалось, сам плыл по небу среди неподвижных белых облаков. Советский флаг, победный советский флаг, пылающий над захваченным фашистами городом.

Легкий шум справа заставил его оглянуться. Будто что-то царапалось о бетонную стену. Что такое?

Над краем башни показались две деревянные жерди. Они качнулись и остановились, упираясь в край стены. Лестница! Немцы хотят забраться сюда по лестнице. Ну?..

Положив пистолет на раненую левую руку, он прицелился.

Вот над краем башни показался железный шлем. Рано еще, рано стрелять! Может быть это обман?

Нет! Из под шлема выглянули внимательные глаза. Немец всматривался, разыскивая противника. Рука его поднималась вверх, замахиваясь гранатой.

Один сухой выстрел—и немец, взмахнувши руками, исчез за краем башни.

— Восемнадцать! И я еще жив!

Сразу три гранаты перелетели через край башни и упали на бетонный пол. Три взрыва один за другим сотрясли башню сверху донизу. Пулемет упал. Осколки гранат запрыгали по бетону.

Что-то тяжелое ударило его по голове, выбило из руки пистолет. Глаза залило горячим. Он протер их. Пальцы сразу стали липкими, склеились. Но он нашел еще в себе силы вынуть свои последние гранаты, с трудом, навалившись на них мертвой левой рукой, повернуть рукоятки.

Потом он увидел, будто в тумане, как над краем башни появились фашисты в зеленых шлемах. Они осторожно влезали на башню, держа наготове пистолеты и гранаты.

На какое-то мгновение он снова поднял глаза. Красный флаг могучим широким крылом реял над ним. Золотые серп и молот переливались огнем на пурпурном фоне. Флаг, как вечный символ борьбы и победы.

Фашисты были уже на башне. Они искали его, лежавшего за пулеметом. И тогда последним усилием он швырнул в них одну за другой все три свои последние гранаты. Это было все, что он мог сделать, залитый кровью, озаренный гордым флагом, развевавшимся над ним.

Взрывов он уже не услышал. И не увидел ничего. Но он знал: боевое задание выполнено, он взял полную и высокую цену за свою жизнь!

## МАЛЕНЬКАЯ ШУРА

Командир отряда спросил ее, внимательно глядя в темно-карие глаза, над которыми быстрыми мотыльками взлетали длинные пушистые ресницы:

— А вы хорошо обдумали все это?

— Да, хорошо,—ответила она уверенно.

— А если фашисты захватят вас в плен, что тогда?

Девушка пожала плечами:

— Ничего они от меня не добьются, товарищ командир. Ведь я комсомолка!

— Да не об этом я,—отмахнулся командир.—Представляете ли вы себе, что они сделают с вами?

— Пусть мучают, все равно!—твердо сказала девушка.

— Не то, не то... Ну, понимаете ли вы, что тогда они превратят вас в свою игрушку... пьяные, озверелые... А потом, только потом убьют. Понимаете?

Девушка вздрогнула. Затрепетали мотыльки, на высокий белый лоб набежали морщинки раздумья. Но через мгновение она ответила так же твердо и решительно:

— Я все, все понимаю, товарищ командир. И ничего не боюсь!

Командир все еще смотрел в ее глаза. Взгляд их был, казалось ему, еще почти детским. Девушка будто оскорблена грубоватым вопросом, большие ее глаза стали влажными, вот-вот заплачут. Девочка еще... Но вот эти складки, запавшие по сторонам нежного рта,—решительные, уверенные. И очертания подбородка тоже энергичны... Ну-ну!..

— Лыжами владеете?

— Да.

— Стрелять?

— Ворошиловский стрелок.

— Еще что умеете?

— Вести машину...прыгать с парашютом. Взяла первенство в городском соревновании по легкой атлетике.

— Хорошо, можете идти, товарищ боец!—И, не отрывая взгляда от мгновенно вспыхнувшего радостью лица девушки, командир громко приказал:

— Включить в состав отряда бойца Александру Сытник!..

...Это было так недавно—и, вместе с тем, так давно. И снова командир отряда смотрел на Шуру Сытник, сидевшую перед ним в землянке. Те же темнокарие глаза, те же длинные ресницы. И совсем другой облик. Теперь перед командиром был взрослый, зрелый человек. Не важно, что разрез пухлых красных губ все еще оставался нежным и капризным. Загрубевшая кожа лица свидетельствовала о ветрах и морозах, сквозь которые прошла девушка. Волевые морщинки около рта говорили опытному глазу о преодоленных трудностях и препятствиях на ее пути. Куда исчезла хрупкость, куда исчезла неторопливость, быть может и намеренно замедленные жесты уверенной в своей красоте девушки? Все изменилось, все стало иным.

Командир помолчал еще минутку. Молчала и она. Пальцы ее руки машинально складывали, расправляли и снова складывали смятый листок бумаги. Разговор, оборвавшись, почему-то не возникал вновь.

— Ну, Шура?—спросил, наконец, командир.

Она вскинула на него глаза.

— Что?

— Решаешься?

Она пожала плечами—так же выразительно, как и тогда, когда они разговаривали в первый раз.

— Нужно—значит не о чем говорить.

— Взвесь, Шура, это очень опасно. И потом... ты так задумалась, что...

— Я думала о другом,—решительно перебила она.

— О другом?

— Да.

Она еще раз разгладила смятый листок бумаги. Потом одним движением снова скомкала его и бросила на пол.

— Я написала письмо Коле. И хочу вас попросить... чтобы его доставили... особенно, если...

Она не закончила. Тень набежала на ее лицо. Печаль покрыла глаза влагой. И тогда широкая рука командира легла на ее маленькую загрубевшую руку,—дружески, приветливо, тепло.

— Понимаю, Шура. И сделаю. Обещаю тебе,—сказал он.

— Тогда все!—Она поднялась, выпрямилась.—Товарищ командир, разрешите идти. Приказ будет выполнен.

— Можете идти, товарищ Сытник,—отозвался и он. И добавил:—Но... береги себя, Шура! Ну, иди...

...Знакомый холм, знакомая широкая дорога от ветряка вниз, к селу. К тому самому селу, где она родилась, росла, училась, откуда уехала учиться в институт. И три вербы около мостика, где она сидела с Колей, где они прощались в последний раз. Теперь эти вербы голые, заиндевевшие ветвигибаются под тяжелыми толстыми пластами снега. А тогда была поздняя осень, вечер пришел совсем золотой, в пурпуре заката, в бронзе опавшей листвы, мягко шуршавшей у них под ногами. Ветренный вечер с облаками, быстро плывшими по небу, будто спешившими исчезнуть за горизонтом, пока не зашло солнце. Ветренный, буйный вечер... ветер назойливо сбрасывал с ее плеч платок, и Коля ласково, заботливо поправлял его... и они смеялись, и грустили, и снова смеялись... какую счастливой, какой радостной, наполненной молодой любовью была тогда жизнь!..

Довольно, довольно об этом! Коля далеко, может быть и он в эту минуту занят своим делом у тяжелого орудия... и вспоминает о ней, и отгоняет мысли, которые будто нарочно неугомонно возвращаются к милой.

Да, довольно воспоминаний, хватит раздумья. Вот уже хаты. Как хорошо обдумал все командир! Именно в эту предвечернюю пору можно было надеяться не встретиться с немцами. Они ужинают, должно быть, оглядываясь на окна.

Маленькая фигурка девушки в потертых валенках, засален-

ном коже и сером платке быстро проскользнула мимо двух крайних хат. Около третьей хатки она остановилась, оглянулась. Нет, не видно никого. Село будто вымерло.

Вот и маленькое окошко. Сколько раз она стучала в него когда-то—осторожно, чтобы не разбудить родителей Тани. А теперь тоже нужно постучать: не откликнется ли ей Таня? И кто там, внутри хаты?

Шура прислушалась. Тихо. Следов около ворот мало. Видно, и вправду немцы побрезговали этой маленькой плохонькой хаткой, к тому же расположенной далеко, почти на самой околице.

Девушка едва слышно постучала в стекло, звякнувшее то-скливо и глухо. Прислушалась. Изнутри донеслось приглушенное:

— Кто там?

— Таня дома?

Быть может, ей это только показалось, но в хате будто кто вскрикнул. Сразу узнали ее по голосу? Неужели это возможно?

Со двора послышался лязг засова. Открылась калитка. Морщинистое женское лицо выглянуло из-за нее. Тетка Ольга! Но почему же она так бледна, почему так глубоко запали ее глаза?..

— Кто это?

— Тетя Ольга, это я, Шура Сытник!—быстро заговорила девушка.—Где Таня? Она нужна мне...

— Тебе нужна Таня?—механически, как машина, повторила вслед за ней женщина.—Шура? Это ты?—голос ее внезапно изменился, задрожал, из запавших глаз брызнули слезы.—Шура! Нет ее, нет моей Тани! Нет! Замучили, запытали мою доченьку немецкие палачи... и убили потом, убили!..

...Сколько гнева, сколько жажды мести может вместить одно маленькое человеческое сердце? Вот уже сзади и хатка, полная страданий и слез, позади страшный рассказ тетки Ольги, а сердце кипит, вспыхивает в нем огонь, опаляющий, режущий острее ножа.

Но нужно хоть на время затушить этот огонь, чтобы он не повредил делу, не лишил хладнокровия, не толкнул на неосторожный поступок. Вокруг враги, помни это, Шура!

И снова она у хаты. Темные окна покрыты инеем. Но тут можно не опасаться. Шура уже хорошо знает от тетки Ольги, что у Василия Сирченко немцев нет. У того самого Василия, который нужен Шура.

— Вася!

— Шура!

— Тише, Вася. Времени мало. Дай я сяду. Прежде всего, почему на улицах не видно немцев?

— Да они шатаются только днем. А после обеда по улицам проходит только патруль. Немцы сидят в хатах. Около сельсовета заняли все хаты до одной. Боятся, видно, выходить. Отогреваются. Шура, а ты...

— Подожди. Есть важное дело. Их штаб где? В сельсовете?

— Да, в сельсовете. Да скажи ты мне...

— Подожди, подожди! Молчи и слушай. Сегодня на рассвете, совсем на рассвете в село...

Шура горячо шептала—и все же ей казалось, что она говорит слишком громко. Василий внимательно слушал ее, не спуская глаз с неясных в сумерках черт девичьего лица. Наконец, он сказал:

— Да, это дело серьезное. Ну что ж, сделаем.

— И не спеши. Иначе все может сорваться, Вася.

— Ладно. А в своей хате ты была?

— Нет еще. Вот сейчас хочу забежать.

Василий постучал пальцами по столу. И затем глухо сказал:

— Не нужно.

— Почему?

— Там никого нет... Нет, они живы. Только сидят в подвале сельсовета, арестованы... Шура, не нужно! Шура!

— Нет, я ничего.

Она сидела, обхватив колени руками, покачиваясь вперед и назад, вперед и назад. Арестованы. Отец и мать. Она их не увидит.

— Шура, что ж ты молчишь?

— Ничего, Вася. Так... Ну, будь здоров, я пойду. Нужно возвращаться. И помни: не спешить, чтобы все было, как я сказала.

Она вышла на улицу. Уже темно. Сумерки сгущались, переходили в ночь. Ладно. Она и наощупь нашла бы дорогу. Больше пока что тут, в селе, нечего делать. Приказ выполнен, люди предупреждены. Ах, хоть бы одним глазком взглянуть на родную хату, услышать голос матери, отца!.. Они бросились бы к ней, всплеснули руками, радостно вскрикнули...

— Хальт!

Бежать? Стрелять? Защищаться? В темноту, напрямик, в степь?

Луч электрического фонаря ослепил ее глаза.

— Хальт! Рука вверх!

Они будут обыскивать, документов у нее нет, маленький пистолет в валенке, может быть удастся обмануть, не заметят, ведь они не знают ее, а она знает в селе каждую хатку. Можно назваться учительницей, только не настоящей фамили-

ей, иначе может быть плохо отцу и матери, мерзавцы, они не обыскивают, а ползают отвратительными лапами по телу, мерзавцы, негодяи... Молчать, маленькая Шура, молчать, не выдать себя!

Из-за спины крайнего высунулась голова с маленькой бородкой в треехе. Узенькие прищуренные глаза. Бледные, почти белые губы. Они поднимаются, оскаливаются мелкими гнилыми зубами. Это... это...

— Кто такая?

— Учительница.

— Документ!

Документ?.. где же его взять?.. что сказать?.. отчего ехидно щурится лисья голова в треехе?..

— Учительница? Кхм... я наших учительниц знал... что-то тебя не видал...

— Денис Трофи...—нет, сдавить горло, задушить, оборвать голос, вырвавшееся слово.

— Да, Денис Трофимович. Староста нашего села. Кхм... и тебя помню, как же... кхм... Сытникова дочка, как же...

— Нет, нет!—Прикусить пальцы до крови, сдержаться, не волноваться.

Нет? Кхм... сукина дочь, комсомолкой была. Откуда явилась? Партизанка? Говори!

— Нет, нет! Не Сытникова я...

— Не Сытникова, говоришь? Кхм... в подвал ее, к родителям, кхм... пусть узнают друг друга...

Она шла по знакомой улице, мимо знакомых хат. Скрипел снег под сапогами солдат, на улице было безлюдно и темно. Так же темно, как и у нее на душе. Только сердце бешено колотилось в груди—и нельзя было успокоить, удержать его, так как все же это было не мужское, а девичье маленькое сердце. Показалось, что кто-то выглянул в окошко, чье-то лицо белым пятном мелькнуло и снова скрылось за темным стеклом. Не Вася ли Сирченко это был?.. Как будто это его хата...

— Не оглядываться!

И дальше тянется знакомая улица, она ведет к сельсовету, к штабу немцев, к подвалу, где отец и мать... вот сейчас, за углом, только повернуть...

— Хальт!

Снова в ее лицо ударил ослепительный свет фонаря, заставил отшатнуться, зажмурить на секунду глаза. Кто-то заговорил по-немецки отрывисто, твердо, как начальник. Ему ответил один из солдат. И тогда вновь послышался голос старосты, Дениса Трофимовича,—на этот раз подобострастный, от-

куда-то снизу, словно лисья голова пригнулась к самой земле в низком поклоне:

— Задержали на околице, господин лейтенант. Подозрительна на партизанку. Сытникова дочка, комсомолка. Они сидят в подвале, а ее в селе не было, господин обер-лейтенант... кхм... откуда явилась, не установлено... ведем в подвал на опознание... конечно, как угодно господину обер-лейтенанту... слушаюсь, господин обер-лейтенант!

Куда ее повели теперь? Он сказал «обер-лейтенант». Может, немецкий офицер захотел сам ее допрашивать. Солдаты вокруг, они идут молча, хмуро, будто чем-то недовольны. Чем? Да какое ей дело! Крыльцо. Ступеньки, дверь. Тут раньше помещался партийный комитет. Коридор, слабо освещенный лампой. Немецкий офицер идет впереди, коренастый, с толстым затылком. Он открывает дверь, останавливается около нее, усмехается. Сюда? Зачем?

Солдаты подтолкнули ее к комнате. Она очутилась около стола. Дверь закрылась. И в комнате остались только двое — она и обер-лейтенант, стоявший с другой стороны стола и смотревший на нее.

Шура оглянулась. Нет, это не официальная комната. Стол с едой и бутылками. Кровать, покрытая толстым ватным одеялом. Какие-то надписи на стенах на немецком языке, рисунки, взглянув на которые она сразу опустила глаза. На щеках ее выступил жаркий румянец возмущения.

— Девушка может не пугаться,—услышала она хриплый голос офицера. Он знает по-русски? Шура удивленно подняла на него глаза. Обер-лейтенант стоял около стола, опершись на него руками и перегнувшись к ней. На его толстом лице играла сытая улыбка. Жирные губы под коротенькими белесоватыми усиками шевелились, как две красные гусеницы. Из-под опухших век на нее смотрели рачьи глаза с белками, покрытыми густыми красными жилками.

— Девушка может сесть,—продолжал обер-лейтенант, указывая на стул.—Э... немецкий офицер есть культурный человек.—Обер-лейтенант с трудом подыскивал слова. — Сесть, прошу.

Чего он хочет от нее? Шура присела на стул. Напротив, за спиной офицера было темное окно. И казалось, что отвратительная рожа фашиста выглядывает из большой темной рамы.

— Культурная девушка понимает немецкого офицера. Их... я не хотел некультурно. Мы весело проводить время. Выпить, ужинать,—он указал на стол.—Потом немножко развлечений... э... немецкий офицер есть прекрасный мужчина. Он знаком много развлечений с девушки вся Европа, так. Сесть!

Последнее слово он резко выкрикнул, заметив, как возмущенно сорвалась с места девушка. Платок свалился с ее головы, спутав волосы. На щеках горел гневный румянец. Она отступила от стола. Обер-лейтенант спокойно остался на месте, опираясь руками о стол.

— Не надо волнение,—сказал он.—Их... я имею предложение. Девушка соглашается, мы весело проводить время. Девушка не соглашается, их... я вспоминаю слова староста. В подвал сидят фатер и мутер... э, родитель девушка. И еще много люди. Имею приказ ликвидировать заложник. Девушка не соглашается, приказ абгемахт... э, реализовать, так? Все люди расстрелять сразу. Рекомендую соглашаться. Хороший водка, вино, веселый компани и время. И все люди живут, я отпускайт, мне не жаль, обещаю честный слово немецкий офицер. Их... я ждайт.

Он грустно сел, неторопливо налил полстакана вина и, смакуя, выпил. Отец... мать... люди, сидящие в подвале... «расстрелять сразу»... перед рассветом будет то, ради чего она приходила сюда, тогда уже немец не успеет ничего сделать, жирная скотина, отвратительное чудовище. Мысли прыгали, перегоняли друг друга, лихорадочные, и где-то в сердце вскипали гнев и отвращение, жалость к людям и жалость к себе, к своим девятнадцати годам, и еще—темная полоска над верхней губой, умевшая так смешно надуваться, когда Коля сердился, и три вербы, и ветер, и бронзовая листва, шуршавшая под ногами... Коля! Коля! Милый Коля!

— Я ждайт.

Что же делать? Убить на месте гадину, она может сделать это, но тогда все погибнут, все люди в подвале... а ведь еще только ночь, партизанский отряд налетит на село, на немецкий штаб перед рассветом... если бы дотянуть, выиграть время до рассвета... а если немец... если он... тогда задушить его, убить, будь что будет!.. Крепче взять себя в руки, маленькая Шура, тянуть, притворяться, так нужно, нужно!..

— Я ждайт уже много.

Тогда она порывисто растегнула колушок, поправила волосы, и рука ее даже не дрожала, когда она взяла стакан с вином и поднесла его к губам. Только зубы нервно цокнули о холодное стекло. Жирная рука офицера погладила ее руку. Она содрогнулась от этого прикосновения, подняла глаза. Рачий взгляд уставился на нее, масляный, раздевающий, от которого холодила ноги и к горлу подступала тошнота.

— Пальто мешайт, лучше снять пальто веселый компани.

Немец как будто верит, что она согласилась. Тем лучше, надо сделать так, чтобы он ничего не подозревал...

— Вы очень торопитесь, господин офицер. Я проголодалась, мне хочется поужинать.

Она нашла в себе силы даже улыбнуться,—хотя улыбка была похожа скорее на вымученную гримасу, она чувствовала это. И снова взглянула на немца, искоса, испытующе — верит ли?..

— Очень рад,—проговорил немец.—Будет веселый ужин и немножко любовь... Прошу ужинать. Вино помогут хороших настроений.

Нет, лучше не пить, лучше сохранять силы, чтобы... если немец... если не будет иного выхода, чтобы не дрогнула рука, тогда убить, но это потом, сейчас надо играть, выиграть время до рассвета...

Она взяла вилку и нож. Медлительными, неторопливыми движениями начала резать мясо и так же неторопливо есть. Рука немца снова легла на ее руку у локтя. Проклятый!

— Как вы нетерпеливы, господин офицер, — капризным, вздрагивающим от отвращения голосом сказала она.—Я нервничаю, когда мне гладят руку.

Офицер хрипло засмеялся:

— Девушка нервный?.. Очень хорошо, очень. Я подождит.

Он опять налил вина и выпил. Затем выкатил рачьи глаза, как бы вспомнив что-то. Что он хочет сделать? Он встает!

— Их... я тоже нервный. Я очень люблю милый девушка.

Он подходит к ней, протягивает руки—короткие, обтянутые мундиром лапы... вот сейчас вилкой в толстую налитую кровью шею, сейчас!.. нет, нужно сдержаться, еще не время... руки, жирные, короткие, снимают с нее кожушок.

— Господин офицер мало пьет. Я привыкла, чтобы мужчины больше пили в веселой компании.

Кокетливым судорожным движением она отстранила руку немца, сняла ее с плеча. И в правой руке все еще держала, стиснув, вилку... толстая багровая шея немца была так близко, ударить, ударить, нет, не время...

— Ха-ха, я будет пить! Немножко поцеловать девушка и пить.

Он опять наклоняется к ней. Она быстро отстранилась. Губы немца чмокнули над ее щекой. Она погрозила ему вилкой:

— Еще не время, господин офицер. Подождите немного, я хочу поужинать... разве у нас мало времени?

Подожди, гадина, подожди, еще прошло слишком мало времени, но он не отходит, он снова наклоняется над ней, он тяжело сопит... ах!

Она заметила за темным стеклом окна белое пятно чье-то лица. Человек смотрел сюда. И этот человек предостерегаю.

ще поднял руку. Кто это, друг, враг? Рука за окном поднималась, поднималась, она, наконец, застыла, эта рука.

Немец перевел дыхание, выпрямляясь. Затем нагнулся над столом, взял бутылку с вином, наклонил ее к стакану.

Бутылка упала на стол, разливая густое красное вино. Ее звон потерялся в сухом треске выстрела—и из головы немца, стукнувшейся лбом о стол, потекла красная струйка, смешивавшаяся с густым вином.

Вылетело стекло. Голос Василия Сирченко выкрикнул:

— Сюда, Шура, скорее!

Она бессильно поднялась, непослушными ногами сделала несколько шагов, держась за стол, обходя грузное, навалившееся на стол тело немца. Рука Василия подхватила ее.

— Ты не... не выдержал, Вася... Ты поспешил...—тихо сказала она.

— Да, не выдержал. Я верхом бросился в лес, когда увидел, как тебя повели, Шура. И все сделано. Все! Отряд вместе с нашими окружил штаб. Немцам нет выхода. И я успел сюда, к тебе.

— Да, успел,—слабо повторила она.—Успел... иначе... иначе я убила бы его, убила бы себя, Вася... я тянула сколько могла, и у меня уже не хватало сил, не хватало...

Доносились выстрелы, где-то взорвались одна за другой две гранаты, протрещала короткая очередь из автомата—и эти звуки казались маленькой Шуре лучшей из мелодий, когда либо слышанных ею.

## ДОСТАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Он лежал на чердаке—и душистая сыпучая мякина казалась ему мягче самой лучшей перины. Под спиной он чувствовал свой автомат, испытанный, верный, надежный. Еще тогда, упав на снег, он не выпустил его из рук. И когда девочка с матерью осторожно, стараясь не повредить его раненую ногу, помогали ему взобраться на чердак,—он тоже не выпускал из рук автомата. Жгучим огнем горела раненая нога, она ступодовой гирей тянулась за ним. Одной рукой он хватался за деревянные ступени лестницы, и в другой спускал автомат, лежавший теперь зарытым в мякине, под его спиной.

Наощупь он нашел около себя кружку с водой. Отпил немного, отставил в сторону. Нога... если бы ранение... да разве лежал бы он здесь?

Иногда нога почти не болела. Казалось, вот сейчас он готовится, обопрется руками—и в одно мгновение очутится снова на обеих ногах, крепких, твердых, упругих ногах физкультурника. Но так только казалось. Достаточно было не-

осторожно пошевелиться — и острая боль словно разворачивала раненую ногу выше колена, будто кто-то ножом полосовал живое тело. И тогда он бессильно откидывал голову, лежал неподвижно, как колода, ожидая, когда успокоится боль.

Может быть, рана зажила бы и раньше. Возможно... Да разве виноват он в том, что нельзя стиснуть горячее сердце обеими руками, стиснуть так, чтобы оно не билось, не выпрыгивало из груди?..

Впервые это случилось, когда в село пришли немцы. Он услышал тяжелый грохот танковых гусениц, злые хриплые восклицания на немецком языке. Это тогда, когда танки уже прошли, он услышал женский крик. Женщина кричала, она задышалась от крика, она плакала и умоляла. Ее душераздирающие крики звучали все дальше и дальше, затихали, а потом сразу оборвались. На мгновение пришла тишина — непереносимая тишина неведомого, угрожающего.

И вдруг раздалась новые крики. Теперь кричало уже несколько женщин, их голоса смешивались с детским плачем. И снова хриплые, лающие восклицания немцев. Этого нельзя было выдержать, нельзя!..

Он приподнялся на руках, дотянулся до крыши, опускавшейся тут до самой мякины. Жгучая боль пронизала его, ударила в спину, дошла до шеи. Но он переосилил боль. Резким движением он раздвинул солому крыши и выглянул на улицу.

Немцы тянули женщин, сдирая с них платки, колушки, валенки. Сумерки, голубые и прозрачные, падали на снег длинными тенями. Эти тени словно суетились, бросались направо и налево. Растрепанная женщина, без платка и колушка, босая, в одной юбке и сорочке, отталкивала от себя высокого, заросшего рыжей щетиной немца. Она даже не кричала, она только хрипела, откинув голову назад. Немец не одолел бы ее. Но на помощь ему пришло еще двое. Они схватили женщину сзади за руки. И тогда уже втроем потянули ее в хату напротив.

Он лежал на груди, втиснув горящее лицо в солому. Да, он знал эту женщину. Это она пришла сюда, на чердак, на следующий день после того, как он оказался тут, и принесла ему горячего молока. Он пил молоко, а она с состраданием посматривала на него, приветливо улыбалась. Потом она сидела около него, рассказывая о своем муже, танкисте, который бьется с фашистами где-то на фронте. Рассказывала, что жили они с мужем всего полгода, она — звеньевая, он — комбайнер. И теперь не дождется его, скучает по любимом...

Из хаты напротив донесся отчаянный женский крик. Так кричат от страшной боли, так кричат перед смертью... Что они делают с ней?..

Еще крики, уже более слабые, как будто женщина изнемогала, будто у нее уже не было сил кричать. И тогда распахнулась дверь хаты и оттуда вышел, пошатываясь, рыжий немец с красным, возбужденным лицом. Вслед за ним показались еще двое. Они тянули за собой тело женщины, они бросили его на снег возле хаты и, не оглядываясь, пошли прочь.

Женщина лежала на снегу, ее косы раскинулись далеко от мертвой головы со стиснутыми челюстями, с глазами, будто смотревшими еще в темнеющее небо. И черная струйка из ее груди расплывалась по синему снегу, черная струйка из большой черной раны.

Рука человека, лежавшего на чердаке, стиснула кулак. Он нащупывал свой автомат. Вон они, немцы, их еще видно. Отомстить, убить—на это нужны секунды. Разве же не прострелит он, снайпер, спины этих негодяев?..

Но рука положила автомат обратно. Нельзя! Нельзя: есть еще одно дело, которому должно быть подчинено все. И дело это—письмо, ради которого он шел сюда, пробираясь через вражеское расположение. Письмо, которое нужно доставить по адресу. Если он выстрелит, убьет,—немцы сожгут целую улицу, он знает это, так они делают везде. То, что он погибнет в пламени,—пусть. Но письмо, письмо, которое лежит у него на груди... оно должно быть доставлено любой ценой!

Он прикрыл солону и на руках пополз к своему месту на мякине. Снова он пересиливал—но теперь уже не острую боль, нет! Он пересиливал самого себя, жажду мести палачам, кровавым зверям в серых мундирах.

Уже лежа на спине, он вспомнил о ноге, протянул руку, дотронулся до нее. Боль была разлита по всему телу. Рука ощутила будто чужую, раздутую, вспухшую ногу. Горячая жидкость смочила пальцы. Это была кровь из растревоженной раны. И только тогда он снова почувствовал боль в ноге, бессильно откинулся на спину и замер, закрыв глаза и сцепив зубы, чтобы не застонать от страшной боли.

Был еще другой вечер, через несколько дней, когда немцы делали обыски в селе. Он слышал их голоса внизу, в хате. Мать с девочкой, не сопротивляясь, открывали все, отдавали все, молча, хмуро. Но хищники не успокаивались. Вскоре он услышал, как на чердак взбегают быстрые детские шаги. Это была девочка. Она молча схватила короб, стоявший у стены, и так же молча начала набирать им мякину и засыпать ею человека, лежавшего в углу. Через минуту тело скрылось под мякиной. Тогда девочка что-то схватила и побежала вниз.

Он лежал неподвижно и прислушивался. Тяжело топотали немецкие сапоги внизу, звучали удары прикладом по чему-то, трещало разбитое дерево. А затем тяжелые шаги стали при-

355701

близиться снизу по скрипучей лестнице, сюда, на чердак. Он стиснул автомат. Нет, живым его не возьмут!

Шаги приблизились. И сразу же стали почти неслышными. Немец шел по покрытому слоем мякины чердаку. Методично, шаг за шагом, он раскидывал прикладом мякину, что-то бормоча себе под нос.

Человек напряженно прислушивался, сильнее стискивая автомат. Шаги немца ближе, ближе... Вдруг снизу донеслось сердитое восклицание второго фашиста. Первый выругался сквозь зубы. Повернув винтовку штыком вниз, он быстро в нескольких местах проткнул мякину.

Один из ударов пришелся рядом с головой человека, прикрытого мякиной. Плоское матовое лезвие штыка прошло в нескольких сантиметрах от щеки. Второй удар наискось прорезал мякину и зацепил ногу, зажегши огнем ее, раненую уже раньше. Прикусив губу до крови, человек под мякиной сдержал готовый вырваться стон. Молчать, молчать, ничем не выдать себя!

Еще мгновение— и лестница снова закричала под тяжелыми шагами. Немец пошел вниз. Стало тихо—если забыть о биении крови в висках: раз-раз... раз-раз... Где мать и ее девочка? Почему не слышно их? Раз-раз... раз-раз... кровь стучала в висках, как будто маленькие молоточки назойливо били в череп.

И вдруг вся улица наполнилась криками, плачем, причитаниями. Он поднял голову: что это, что?

Лаяли собаки, трещали одиночные выстрелы, причитали женщины, плакали дети. И над всем этим стояли злые выкрики немцев. Да что же это такое?

Фашисты выгоняли из хат, из села людей. Мужчин в селе не осталось никого, кроме дряхлых стариков. Только женщины и дети жили еще в хатах. Именно их и выгоняли фашисты. Как скотину, они подгоняли женщин и детей прикладами, подкалывали штыками. Крики и плач начали отдаляться. А когда все утихло,—стало ясно: фашисты выгнали из села все живое, не оставили никого. Только выли собаки, усевшись перед распахнутыми воротами и встречая этим тоскливым воем молодой месяц, серебряным серпом выплывавший на темный небосвод.

И после этого прошло еще несколько дней. Он лежал на чердаке один, не в состоянии пошевелинуться. Не было еды—он не думал об этом. Не было воды—тоже все равно, хотя горло пекло огнем жажды и все тело налилось свинцовым утомлением. Но что же будет с письмом? Кто доставит его по адресу, если он умрет тут, на чердаке?

Потом он, кажется, потерял сознание. По крайней мере,

время спуталось, смешалось, утратились переходы от дня к ночи. Один раз он как будто проснулся от тяжелого сна, услышавши внизу, в хате, чужой, немецкий, фашистский говор. Кто-то отдавал приказания властным, басовитым голосом. И короткие отрывистые ответы звучали, как лай собаки.

Он осмотрелся. Сквозь щели крыши пробивался дневной свет. День... и немцы... значит, они в селе?..

Вдоль улицы бежали фашисты, прозвучал топот всадников. Прохрипел простуженный автомобиль, захлебнувшись тревожным сигналом. Прогрохотали повозки.

Они отступают? Они убегают?..

И снова, как и в первый раз, он пополз на руках к краю крыши, таща за собою мертвую ногу. Раздвинул солому, выглянул на улицу. Невыразимая радость охватила все его существо. Немцы бежали, в этом не было сомнения!

Положив подбородок на приклад неразлучного автомата, он блестящими глазами следил за тем, что делалось на улице. Да, немцы отступали!

Сначала солдаты шли на запад быстрыми шагами, колонна за колонной. Потом промчалось несколько автомашин с офицерами. Тогда характер движения изменился. Солдаты, спеша, ускоряли и ускоряли шаг. А когда ударили первые разрывы артиллерийских снарядов, взрывающихся где-то на окраине села,—фашисты побежали. Всадники, бешено подстегивая лошадей, расталкивали ими солдатскую спешившую толпу, выкрикивали ругательства, пробивались вперед сквозь серую кашу шинелей, полушубков, кожушков, снятых немцами с селян.

Так прошло около получаса. И, наконец, улица опустела, будто выплюнув из себя солдатскую взбудораженную толпу. Артиллерийские снаряды взрывались уже с другой стороны села—там, куда раньше бежали немцы. Советская артиллерия отрезала фашистам пути отступления.

Человек на чердаке воспаленными глазами смотрел на улицу. Еще проезжали броневики и автомашины, но пехоты уже не было: вероятно, ей пришлось бежать другим путем, не закрытым огнем советской артиллерии.

И вдруг он весь напрягся. Посреди улицы остановился грузовой автомобиль. Из него выскочило несколько немецких солдат. Офицер, сидевший рядом с шофером, выкрикнул приказ, оглядываясь вокруг. Рукою он указал на хату напротив. Солдаты сняли с машины два пулемета и понесли их на чердак указанной офицером хаты. Следом за ними побежал и офицер. Шофер повернул за угол и остановил там машину.

Засада? Пулеметное гнездо, которое встретит красноармейцев свинцовым дождем?

Да! Вот из соломы на крыше хаты выдвинулись два чер-

ные стволы пулеметов. И все замерло. Уже не грохотали повозки, не ревели тревожные сигналы автомашин. Только артиллерийская стрельба залп за залпом сотрясала землю где-то на околице села.

Пулеметные стволы уставились вдоль улицы. Сквозь раздвинутую солому крыши были видны головы фашистов в железных шлемах, из-под которых свисали края шерстяных женских платков. Хищники ждали.

И так же неподвижно лежал человек на чердаке. Он не сводил взгляда с хаты напротив. В висках его безумолчно стучали маленькие железные молотки: раз-раз... раз-раз... Перед глазами плыли, вертелись радужные круги. И тяжелыми волнами подымалась, спадала и снова подымалась жгучая боль в ноге, будто кто-то тянул ее, и отпускал, и снова тянул.

Человек пошевелился. На груди у него зашуршал конверт. Это было письмо, ради которого он должен был жить, чтобы донести его по адресу. Письмо командованию.

Далеко-далеко на улице, с востока, донесся конский топот. Человек повернул голову, всматриваясь в даль. Красные? Наши? Да, красные: зашевелились пулеметные стволы напротив, нацеливаясь вдоль улицы.

Но фашисты почему-то не стреляли. Глаза человека, лежавшего на чердаке, сверкнули. Он понял! Фашисты хотели подпустить советский авангард ближе, чтоб расстрелять его, уничтожить одной-двумя пулеметными очередями. А топот все приближался.

Медленным, размеренным движением, чтобы не расходовать напрасно драгоценных остатков силы, он поднял автомат и положил его на край крыши, старательно прицеливаясь. Внимание, внимание, тут можно действовать только наверняка. Один промах — и все погибнет. Разве сможет бороться его автомат против двух станковых пулеметов?

Но за ним преимущество инициативы. Только бы перестали дрожать пальцы, только бы исчезли, ушли эти голубые, фиолетовые и красные круги перед глазами, только бы не дернула ногу острая боль...

Прицел автомата медленно накрыл щели в соломе крыши напротив. Топот всадников уже совсем близко, быстрый галоп советских кавалеристов. Фашисты сейчас будут стрелять.

Совсем механически рука почувствовала, как затрясся, затанцевал автомат. Ослепительные язычки пламени возникли из его дула. Брызнула желтая солома на крыше напротив, словно по ней ударили тяжелой палкой.

Глаза человека, лежавшего на чердаке, заметили, как свалилось двое фашистов. Потом ствол одного из пулеметов опустился вниз, сдвинулся направо. Еще одна очередь из ав-

Ан 14-44

томата: пулемет застыл. Еще очередь, еще... пусть будет до последнего патрона, все равно!

Раздвигая солому тяжестью мертвого тела, с крыши напротив свалился офицер. Раскинув руки, он упал на снег, синий снег с черными пятнами пролитой фашистами женской крови.

Это было последнее, что увидел человек, лежавший на чердаке. Автомат выпал из его руки—да он и не был нужен теперь, пустой, без единого патрона. Глаза человека закрылись—и у него не было силы раскрыть их. Но уши его еще слышали все. Напрягая слух, затаив дыхание, он ждал: не начнут ли стрелять пулеметы фашистов с крыши напротив?

Пулеметы молчали.

Тогда он вытянул руки вдоль тела и замер, почувствовав, как начинает снова резать его ногу забытая в нечеловеческом возбуждении жгучая боль. А может быть—он снова потерял сознание? Этого он не знал.

Но каким-то шестым чувством, быть может слухом, быть может—осознанием, он ощутил шаги, направлявшиеся к нему, услышал голоса—красноармейцы перебрасывались короткими фразами. И почувствовал, радостно улыбаясь,—по крайней мере, так казалось ему, хотя его губы не способны были пошевелиться,—как заботливые, братские руки поднимают его измученное, обессиленное тело и несут вниз, в тепло, к своим, родным, тем, кому он нес—и донес!—драгоценное письмо партизанского отряда.



355701

Саратовское областное государственное издательство. 1942.

Отв. редактор *Е. Трощенко*

Корректор *З. Чуднова*

НГ22638. Подписано к печати 19/IX 1942 г. Учет.-изд. л. 1,5. Печ. л. 1 1/2.  
Знак. в бум. л. 82.000. Тираж 25000. Цена 55 коп.

Саратов. Типография № 1 Полиграфиздата. Заказ № 2734.